

Марина Цветаева

Отец и его музей



Марина Ивановна Цветаева
Отец и его музей
Серия «Автобиографическая проза»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175892

Марина Цветаева. Вольный проезд: Азбука-классика; Москва; 2001

ISBN 5-352-00021-4

Аннотация

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

Содержание

I. Шарлоттенбург	4
II. Машинка для стрижки газона	10
III. Мундир	12
IV. Приют	18
V. Лавровый венок	20

Марина Цветаева

Отец и его музей

I. Шарлоттенбург

(Перевод А. Эфрон)

Мне скоро шестнадцать. Асе – четырнадцать. Три года тому назад умерла наша мать.

Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки, обвалы солнца. Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные рукава, тиски обшлагов и пройм, капканы воротников. Не платья – тюрьмы! Черные чулки, черные башмаки. *Ноги* черные!

– Папа, долго еще!

Шагаем уже добрых полчаса, а час ходьбы с отцом стоит целого дня с иным скороходом.

– Скоро, скоро, еще минут пятнадцать-двадцать, не больше! Отец мой – страстный, вернее – отчаянный, еще вернее – *естественный* ходок, ибо шагает – как дышит, не осознавая самого *действия*. Перестать ходить для него то же, что для другого – перестать дышать. Мы с сестрой, пыхтя, следуем. Идем гуськом – отец впереди, за ним – я, за мной – Ася.

“Городок Шарлотты” (какой-нибудь “Великой”, должно быть, раз назван ее именем) – Шарлоттенбург вымер начи-

сто. Ставни закрыты. Вокруг – ни собаки. Единственные собаки на улице – мы. Сказала: “закрытые ставни”. А есть ли они вообще? Ставни? Дома? – Не знаю и знать не могу, так как иду, не поднимая головы, загнипнотизированная движением собственных черных ног по белой мостовой.

– Папа, скоро? – это опять Ася спрашивает, я же, из гордости врожденного пешехода – и прочих своих гордостей – молчу.

Шесть черных башмаков по белой мостовой.

Два впереди, два вслед, два замыкающих.

Но не может же так длиться вечно! Надо что-то придумать. И – придумываю. Все это – только сон. Я сплю. Потому что такой жары – до седьмого пота, такого раскаленного света, словом, такого *ужаса* просто *не может быть*. И поскольку любому, даже самому долгому сновидению срок – три минуты, не более, значит, я не успела устать. Даже во сне.

Стоило лишь убедиться – усталости как не бывало.

И – голос отца:

– Вот мы и пришли.

Громадная, если не бесконечная, Gipsabgßsserei: склады гипсовых слепков с мраморных подлинников. Статуи, статуи, статуи.

– Вы у меня молодцы, шли – не ныли, – говорит отец, вытирая лоб, – в награду дарю каждой по слепку, пока мы тут побеседуем с господином директором. Будьте умницами, мы недолго.

Итак, мы с Асей одни в зачарованной стране, одни – странно-черноногие среди всех этих застывших, бело– и голо-ногих. Начинаем поиски, от статуи к статуе, от торса к торсу, от головы к голове. По правде сказать, я не очень люблю скульптуру. Вот если бы отец предложил мне вместо двух слепков на выбор две книги, я бы тотчас назвала с десятков самых вожаделенных. Но – делать нечего. Постараемся хотя бы напасть на что-нибудь не слишком статуйное.

Расходимся в разные стороны, чтобы, упаси господи, не выбрать одно и то же. Время от времени, как в лесу за грибами:

- Ау-у! Нашла?
- Нет еще, а ты?
- И я нет.
- Ты меня видишь?
- Вижу!
- Ты где?
- Здесь!

Игра в прятки среди статуй. Наконец вопль Аси:

- Есть! Кажется, мальчик!

Полная ревнивого любопытства, я бы помчалась на ее голос, но не очень-то тут помчишься. Пробираюсь, даже протискиваюсь.

Действительно, мальчик. Наш сверстник, даже, пожалуй, моложе – и с нашей челкой на лбу. Не статуя, не торс – голова.

– Нравится?

– Для тебя – да, для себя – нет.

Не успеваю скрыться в дебрях человеческих окаменелостей, как снова – зов.

– Еще нашла! Опять мальчик! Подхожу, и, взглядевшись:

– Никакой это не мальчик.

– Мальчик!

– Говорю тебе – не мальчик.

– Ну, знаешь, ты с ума сошла, если считаешь *это* – девочкой!

– А я и не говорю, что девочка. Скорее – ангел.

– А крылья?

– Значит – греческий ангел. Или римский. Во всяком случае – не человеческий мальчик.

– Человеческий – не человеческий, зато у меня их два, а у тебя – ничего.

И правда – ничего. Потому, что хочу чего-то очень *своего*, не выбранного, а полюбленного с первого взгляда, предначертанного. Что не менее трудно, чем найти жениха.

Ах, если бы здесь была голова Бонапарта! Я давно бы схватила ее, притиснула бы к груди – но он родился куда позже Греции и Рима! Ну а Цезаря мне не нужно; Марка Аврелия тоже.

Остается продолжать поиски среди женщин.

И – вот она! Вот – отброшенная к плечу голова, скрученные мукой брови, не рот, а – крик. Живое лицо меж всех

этих бездушных красот!

Кто она? – Не знаю. Знаю одно – *моя!* И так как столь же моего мне больше не найти, и так как мне ничего (никого!), кроме нее, не нужно – не раздумывая присоединяю к ней некую благодетельную и туповатую девицу с чем-то вроде шарфика на волосах – первую попавшуюся!

Найдя – прогуливаемся.

– Конфетку хочешь?

– Давай!

В моих, уже слипшихся, пальцах капелькой крови – кислый русский леденец, носящий французское – времен их эмиграции? – название “монпансье”. Переглядываемся и – одним и тем же молниеносным движением вталкиваем: Ася – зеленую, я – красную конфету в разверстые пасти: Льва – (Ася), Героя – (я).

До чего же этот изумруд и этот гранат оживляют белизну гипсовых языков!

Сестра, засунув руку поглубже:

– Знаешь, у них нет глотки. Совсем. Там, внутри, – тупик!
(Голос отца: “Ася, Муся!” – “Сейчас, папа!”)

– Надо их вынуть!

– Нет, оставим!

– Но что директор подумает?

– Он и не увидит: у него очки. Да если и увидит – никогда не поверит, что дочери нашего отца...

– А если и поверит, то никогда не решится сказать...

– А если и решится, то не успеет...

– ...Ну как, выбрали?

О, ужас! Папа с директором направляются в нашу сторону!

– Нашли себе что-нибудь по вкусу, милые барышни? (Директор.)

– Вот это – и это – и это – и это.

– Сразу видно, что вы – дочери своего отца! (Одобрительно:) Донателло – и – (забыла имя) – и Амазонка – и Аспазия. Прекрасный, прекрасный выбор! Разрешите мне, уважаемый профессор, преподнести эти слепки вашим дочкам!

Итак, моя любовь с первого взгляда – Амазонка! Возлюбленный враг Ахиллеса, убитая им и им оплаканная, а та, другая, благонравная, моя “первая попавшаяся” – не кто иной, как Аспазия!

– Поблагодарите же господина директора за чудесный подарок! Благодарим. Но истинную нашу благодарность господин директор обнаружит несколько погодя – в разинутых пастьях Героя и Льва.

Довольные, покидаем заколдованное царство.

– А теперь пойдем выпьем пива, – говорит отец.

II. Машинка для стрижки газона

Как-то, из поездки по хозяйственным делам отец привез машинку для стрижки газона, разбитого им на лужайке перед главным входом собственноручно.

– Это тебе, это – Асе, это – Андрею, а это – для Музея. “Это для Музея” было машинкой для стрижки газона: тяжелая, сверкающая и внушающая уважение садовая игрушка, которую он бережно достал из небольшого ящика, трижды обвязанного веревкою.

– Ну как, хороша?

– Великолепна!

– Угадайте, сколько я за нее заплатил?

– Марок сто?

Отец рассмеялся:

– А вот и вдвое меньше.

– А пошлина на таможне?

– Совсем ничего.

– Как это?

– Да так. Я взял её с собой в вагон. “А что у вас в ящике, господин профессор?” – “Там греческие книги, дружок”. – “А! Господин преподает греческий?” – “В Московском университете, дружок, уже тридцать лет”. – “Это, наверное, очень трудный язык!” – “Нет, не очень, нужно немного терпения, вот и все”. – “Я был бы очень горд, если б умел читать

на греческом!”

Уже через две минуты я преподал ему урок греческого языка тут же, в вагоне. Милый человек! Мы расстались друзьями.

– Ну, а если б он попросил тебя открыть ящик?

– Я бы сказал, что я ничего не знаю, что букинист все напутал... Но никакого риска не было: ну разве я похож на типа, который может прятать у себя в багаже что-нибудь иное, кроме греческих книг?

Действительно, отец выглядел именно тем, кем он на самом деле был – самым честным из людей, потому и сомнений быть никаких не могло...

Только благодаря таким хитростям и попадают в Царство Небесное.

III. Мундир

(Перевод А. Эфрон.)

Для отца моего новая одежда была не радостью, а горем, если не катастрофой.

– Папа, пора тебе сшить костюм. Твой ведь...

– Еще годится. Крепкий и без единой дырки.

– Но цвет...

– Не может быть иным после пятилетней носки. Доживешь до моих лет – узнаешь, что такой срок и нас не украшает.

– А все же, папа, почему бы тебе не заказать новый костюм?

– Зачем, когда мне и этот хорош? А если другим не нравится, пусть не смотрят. И вообще – кто будет по одежде встречать и провожать старого профессора?

На следующий день окликает на лестнице моего брата:

– Андрей, слушай, Андрей, не помнишь ли адреса моего приятеля – портного Володина? Я все же решил его перелицевать.

– Что?!

– Пиджак перелицевать.

– Купи себе лучше новый!

– Купи, купи... Это ты привык, с колыбели нужды не знаешь. А я учился на медные деньги и не привык бросаться

тем, что еще может послужить.

Поймите меня: это не было скупостью.

Вернее – *было*. Скупостью в *превосходной* степени.

Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.

Итак – скупость, являющая собой сыновнее уважение.

Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.

Итак – верность своей юности.

Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги.

Итак – верность земле.

Скупость аскета, которому *все* лишнее для себя – тела и *всего* слишком мало для себя – духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.

Скупость каждого, *делом* занятого, человека, знающего, что любая трата – прежде всего трата времени.

Итак – скупость: экономия времени.

Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому *просто ничего не нужно*. (Отрешенность Льва Толстого от всех благ земных была не “фантазией”, а *потребностью*, ибо писателю куда сложнее управлять имуществом, чем раздавать его. Ибо обыкновенный некрашенный стол нужнее полированного письменного, со множеством ящиков, наполненных лишними вещами, захламляющими в первую оче-

редь голову. Приверженность Вагнера к роскошным декорациям жизни всегда была для меня загадкой большей, чем его гений.)

Итак, скупость: духовность.

(Все эти скупости недаром мне ведомы – я их унаследовала от отца, среди многого иного! Выиграй я завтра миллион, я купила бы себе не норковое манто, а честную шубу на овчине, самой простой выделки, как все наши крестьянки носили. Овчина – не каракуль. Теплая, без сносу, не вызывающая ни зависти, ни неловкости, ни угрызений.)

Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь раздаривать.

Ибо раздаривал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки – на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна – музейных колонн, показавшихся критикам слишком тонкими по отношению к высоте.

...А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!

Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: “А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!”

Главный удар по отцовской “скупости” был нанесен мун-

диром. Мундиром “Почетного опекуна” (звание, полученное за создание музея). Мундиром, которого нельзя перелицевать, раз он еще не существует. Который должен быть новее нового, ибо весь – в золотом шитье!

– Да, но это обойдется мне в семьсот рублей! – таков был ответ отца на наши поздравления его с новым званием.

– Неужели за звание надо платить?

– За звание – нет. За мундир.

– Как! У тебя будет мундир? Шитый серебром?

– *Если бы* серебром...

* * *

Потом начались примерки, проходившие в гробовом молчании.

– Раз он портной, пусть смотрит сам. *Его* дело!

Впрочем, на моей памяти отец ни разу не бросил сознательного взгляда в зеркало. Безмолвные примерки, за которыми следовало глухое, медвежье ворчанье:

– Семьсот рублей за одежду – да это форменный грабеж! Прикинем: на семьдесят пять рублей сукна, да на сотню серебряного и золотого шитья, – материал и работа – да полсотни портному... ах, еще на подкладку рублей двадцать пять – вот вам всего-навсего двести пятьдесят – и это *хорошая* цена! Пусть будет, для очистки совести, триста. Куда же деваются еще четыре сотни? Кому?

– Но, папа, ведь придворный портной берет за работу не пятьдесят рублей, как обыкновенный.

– Придворный, обыкновенный. Есть только два разряда портных – плохие и хорошие. А для меня все они хороши, было бы во что вдеть руки и ноги! Придворный портной! Выходит, что переплачиваешь за звук, за слово “двор”!

* * *

Наконец мундир готов, и мы помогаем отцу попасть в рукава и застегнуться на все крючки.

Восклицания восторга: “Какая красота! Как ты в нем хорош! Да посмотри же на себя!”

Он бросает в сторону зеркала растерянный и недоверчивый взгляд близорукого – чтобы тотчас же отвести глаза.

– Хорош! – даже слишком! (И, повторяя привычный свой припев:) Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!

– Так это же не на себя, а для музея, папа!

Он, настораживаясь:

– Постой, постой, постой... как ты сказала?

– Для музея. Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.

– У тебя красноречие твоей матери. Она все могла со мной сделать – словами.

– Да ведь это не слова, папа. Это – глазами видишь. Бе-

лая лестница музея, а наверху, меж двумя колоннами – ты. В темно-синем, серебряном, золотом... Посмотри, что за прелесть это шитье! Листья... веточки...

– Если бы не золото!

– Но ведь оно – почти совсем не золото! Так – тень золота, едва заметная, даже чуть зеленоватая. Скромный, *благородный* вид!

– Да, в глаза как будто бы не бьет. Но выглядеть такой... иконой!

И – со вздохом:

– Разве что для музея...

IV. Приют

По делам Музея отец часто бывал в Германии и всегда останавливался в каком-нибудь странноприимном доме: убежище для людей почтенных, но незажиточных.

– Встают в шесть часов под звуки колокола.

– А ты?

– И я: это полезно для здоровья. Потом женщины моют полы, мужчины бреются.

– И ты тоже? (У отца никогда не было бороды, но были большие усы а ля Клемансо.)

– И я. – Потом все поют благостные пестнопения.

– Неужели ты тоже?

– И я.

– Но, папа, как ты можешь петь, ты же фальшивишь.

Он, соглашаясь,:

– Да, я немного фальшивлю, но пою так тихо, чтобы меня никто не слышал, я только чуть-чуть открываю рот.

– Но они же протестанты! (Это говорит наша гувернантка, которая грезит о монастыре.)

– Да, протестантские. Но голоса прекрасны и слова тоже. А потом все пьют кофе с молоком... и уходят – до вечера.

– Папа, а это не Армия спасения!

Папа:

– Может быть, но в это не очень верится, ведь за все время

я не встретил никого в форменном платье.

V. Лавровый венок

(Перевод А. Эфрон.)

День открытия музея. Едва занявшееся утро торжественного дня. Звонок. Курьер из музея? Нет, голос женский.

Разбуженный звонком, отец уже на пороге зала, в старом своем, неизменном халате, серо-зеленоватом, цвета ненастья, цвета Времени. Из других дверей, навстречу ему – явление очень красивой, очень высокой женщины, красивой, высокой дамы с громадными зелеными глазами, в темной, глубокой и широкой оправе ресниц и век, как у Кармен, – и с ее же смуглым, чуть терракотовым румянцем.

Это – наш общий друг: друг музея моего старого отца и моих очень юных стихотворений, друг рыболовных бдений моего взрослого брата и первых взрослых побед моей младшей сестры, друг каждого из нас в отдельности и всей семьи в целом, та, в чью дружбу мы укрылись, когда не стало нашей матери – Лидия Александровна Т., урожденная Гаврино, полуукраинка, полунеаполитанка – княжеской крови и романтической души.

Отец, разглядев посетительницу:

– Ради Бога, извините, Лидия Александровна! Я в таком виде... Не знал, что это вы, думал – курьер... Позвольте, я... (смущенно показывая на халат).

– Нет, нет, нет, дорогой мой, глубокоуважаемый Иван

Владимирович! Так – гораздо лучше. В этот знаменательный день халат ваш похож на римскую тогу. Вот именно – тогу. Даже на греческий пеплум. Да.

– Но... (отец, конфузясь все больше) я, знаете, как-то не привык...

– Уверяю вас – настоящая тога мудреца! К тому же, через несколько часов вы предстанете нам во всем своем блеске. Я так рано, потому что хотела первой поздравить вас с этим великим днем, самым прекрасным днем вашей жизни – и моей тоже. Да, и моей. В которой мне никогда ничего не дано было создать. Мне не было дано этого счастья. Поэтому я вас так и полюбила. Сразу полюбила. И буду любить – до последнего вздоха. За то, что вы – созидатель. Вот именно – созидатель. Я должна была первой поблагодарить вас за подвиг вашей жизни, за подвиг вашего труда. От имени России и от своего я принесла вам – вот это.

Перед ошеломленным отцом – лавровый венок.

– Позвольте, позвольте, позвольте...

– Наденьте его – сейчас же, тут же, на моих глазах. Пусть он увенчает ваше прекрасное, ваше благородное чело!

– Чело? Лидия Александровна, голубушка, я бесконечно тронут, но... лавровый венок... мне?! Это, право, как-то даже и некстати!

(В своей полнейшей отрешенности от *внешнего*, отец и не задумывается о том, как может *выглядеть* лауреат в халате!)

– Нет, нет, нет, не спорьте! – посетительница, с вызовом на устах и со слезами на глазах. – Я *должна* увенчать вас, хотя бы на мгновенье!

И, пользуясь тем, что отец мой, движением смущенной благодарности, протягивает ей обе руки, она предательским, воистину итальянским жестом, возлагает, нет, нахлобучивает ему на голову венок.

Он, отбиваясь:

– Прошу вас, не надо! Не надо!

Она, умоляюще:

– О, не снимайте! Он так вам к лицу!

И, со всей страстью восхищения (ибо восхищение – величайшая из ведомых мне страстей!) – целует его, – тридцатипятилетняя красавица – почти семидесятилетнего старика, в увенчанный лаврами лоб.

Мгновение спустя (венки уже сняты и бережно положены на стол) просительница, все еще стоя и сжимая руки моего отца в своих:

– Хочу, чтоб вы знали: это – римский лавр. Я его выписала из Рима. Деревцо в кадке. А венок сплела сама. Да. Пусть вы родились во Владимирской губернии, Рим – город вашей юности (моей – тоже!), и душа у вас – римская. Ах, если бы ваша жена имела счастье дожить до этого дня! Это был бы *ее* подарок!

Отец мой скончался 30 августа 1913, год и три месяца спустя открытия музея. Лавровый венок мы положили ему

в гроб.
1936